

КУЛЬТУРА

# Владимир Луговской сквозь середину века

Иван Толстой

02 февраля 2026



Владимир Луговской, начало 1920-х.

Последняя, двенадцатая беседа из дюжины задуманных рассказов писательницы Натальи Громовой о драме русской литературы советского времени.



Как обойти блокировку?

[читать >](#)

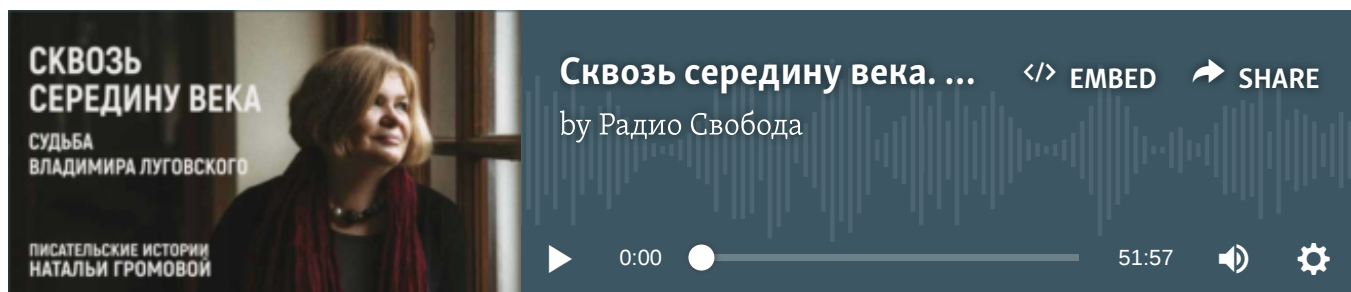
Нет,  
та, которую я знал, не существует.  
Она живет в высотном доме,  
с добрым мужем.  
Он выстроил ей дачу,  
он ревнует,  
Он рыжий перманент  
ее волос  
целует.

Мне даже адрес,  
даже телефон ее  
не нужен.  
Ведь та,  
которую я знал,  
не существует.  
А было так,  
что злое море  
в берег било,  
Гремело глухо,  
туго,  
как восточный бубен,  
Неслось  
к порогу дома,  
где она служила.  
Тогда она  
меня  
так яростно любила,  
Твердила,  
что мы ветром будем,  
морем будем.  
Ведь было так,  
что злое море  
в берег било.  
Тогда на склонах  
остролистник рос  
колючий,  
И целый месяц  
дождь метался  
по гудрону.  
Тогда  
под каждой  
с моря налетевшей  
тучей  
Нас с этой женщиной  
сводил  
нежданный случай  
И был подобен свету,  
песне, звону.  
Ведь на откосах  
остролистник рос  
колючий.

Бедны мы были,  
молоды,  
я понимаю.  
Питались  
жесткими, как щепка,  
пирожками.  
И если б  
я сказал тогда,  
что умираю,  
Она  
до ада бы дошла,  
дошла до рая,  
Чтоб душу друга  
вырвать  
жадными руками.  
Бедны мы были,  
молоды —  
я понимаю!  
Но власть  
над ближними  
ее так грозно съела.  
Как подлый рак  
живую ткань  
съедает.  
Все,  
что в ее душе  
рвалось, металось, пело, —  
Все перешло  
в красивое тугое  
тело.  
И даже  
бешеная прядь ее,  
со школьных лет  
седая,  
От парикмахерских  
прикрас  
позолотела.  
Та женщина  
живет  
с каким-то жадным горем.  
Ей нужно  
братъ

все вещи,  
что судьба дарует,  
Все принижать,  
рвать  
и цветок, и корень  
И ненавидеть  
мир  
за то, что он просторен.  
Но в мире  
больше с ней  
мы страстью  
не поспорим.  
Той женщине  
не быть  
ни ветром  
и ни морем.  
Ведь та,  
которую я знал,  
не существует.

(1956)



[↗ Pop-out player](#)

[↓ Скачать медиафайл](#) ∨

**Наталья Громова:** Владимир Луговской - известный советский поэт. Когда я стала заниматься архивами и разбирала его архив, - может быть, один из первых в Лаврушинском переулке, - именно через него я увидела ту двойную жизнь, которая существовала тогда.

Есть официальный поэт с определенным лицом, с определенными стихами, о котором высказывается окружение. У него уже есть репутация - и плохая, и хорошая, и всякая. Но есть другой человек, который существует в письмах, в записках, в дневниках и в замыслах не осуществившихся, что очень драматично. Я не смогла, к сожалению, помочь опубликовать все, все то, что он хотел.

Но это абсолютно не важно, потому что самое главное я написала в книге “Узел”, и “Новый ковчег писателей”, где он выступает тоже одним из героев эвакуации.

**“ Он считал, что  
середина века ложится  
именно на 1937 год**

О его второй части жизни много уже написано и сказано, и даже снято три фильма. Тоже, извините, благодаря мне, потому что я поняла, что это удивительный конформист, который на самом деле,

конечно, в период войны стал меняться в другую сторону и стал писать книжку-поэму. Он ее начинал до этого, книгу-поэму “Середина века”.

И что меня абсолютно поразило, что первая глава, первая поэма называлась “Верх и низ”, а в тот момент она вообще называлась “1937 год”. Он считал, что середина века ложится именно на 1937 год. И об этом пойдет дальше речь, но сначала я расскажу, как все это начиналось.

Владимир Луговской был из очень приличной и прекрасной, я бы сказала, семьи. Его отец был преподавателем Первой московской гимназии, где до этого учился Эренбург, Бухарин и вообще кто там только не учился, она находилась прямо напротив храма Христа Спасителя. Отец Луговского пришел туда преподавателем филологии и выучил очень много известных людей. Например, будущего профессора Яковлева, который был дедушкой Людмилы Петрушевской, он выучил писателя Ардова, учил юного критика Тарасенкова. То есть через его руки прошли многие будущие советские филологи, о чем они оставили воспоминания. И поэтому мальчик рос в такой учительской семье. Мама была певицей, но отказавшейся от своего призвания. Было у него еще две сестры. И он был красив, талантлив, он старший брат в этой семье.



Я давно уже поняла, что мальчишки, которые родились в начале века (в 1900-1901 году), имели одну судьбу, а если, например, родились в восьмидесятые-девяностые годы, это совсем другая судьба, потому что они успели увидеть что-то другое. А вот те, кого революция застала в подростковом или семнадцатилетнем возрасте, конечно же, шли в революцию как в некую романтическую прогулку.

Что случилось с Луговским, который сначала был немного в Красной армии, а потом стал курсантом Кремлевской охраны? Недолго он там был, а потом уже он уже с юности писал стихи и влился в разные кружки, в том числе кружок конструктивистов. Одновременно он в те годы пытался работать. Очень подражал Маяковскому и внешне, и немножко, так сказать, заигрывал с публикой ровно таким же образом, как и Маяковский, любя, потому что он имел замечательный голос, был очень красив, любимец женщин. Он очень любил очаровывать. Но это был совсем другой дар, это не был дар Маяковского.

### “ Он сам себя понимал как неоклассика

Он сам себя понимал как неоклассика еще в те времена, когда он был участником издательства “Узел”. Участниками “Узла” были самые разные герои. Туда входил и

Пастернак, и такой странный персонаж, бывший друг Хлебникова Дмитрий Петровский, там был Сельвинский. Как ни странно, юный Луговской был секретарем этого издательства, а всем заправляла Софья Парнок. И все заседания «Узла» происходили на Староконюшенном переулке либо в квартире Луговских, либо в квартире Петра Зайцева, будущего секретаря Андрея Белого.

В общем, Луговской прошел через очень много таких кругов той прежней интеллигенции. Он очень подружился тогда уже с Павлом Антокольским, но он себя воспринимал еще не совсем советским, он был больше, как бы сказать, таким, как они себя называли - действительно неоклассиком. Они хотели сохранять традицию и в то же время жить в советской действительности.



Павел Антокольский и Владимир Луговской, 1940.

Он, конечно, совершал нелепейшие поступки, потому что долго не мог нащупать свое место. Например, уже в конце двадцатых годов он понимал, что все закатывается, чувствовал это внутри (потому что он уже получает критические стрелы в свой адрес по поводу своих традиционалистских стихов о русской

истории: он очень любил писать про русскую историю, любил отсылки к большой истории, и за это был бит как русофил; потом он был бит ровно за обратное), он понимал, что качается на этих страшных качелях.

**“ Они писали, по их словам, стихи для инженеров, для той России, которая будет Америкой**

В круг его товарищей по литературному конструктивизму входила очень пестрая публика от Сельвинского и Зелинского до Веры Инбер. Например, Григорий Гаузен, самые разные люди с очень разной манерой письма, но они были верны своему направлению. Они писали, по их словам,

стихи для инженеров, для той России, которая будет Америкой. У них был сборник, назывался “Бизнес”, они хотели писать для технической интеллигенции, особые стихи. Что надо сказать, у Сельвинского очень неплохо получалось.

А Луговской понял, что меняется воздух, ветер меняется, при том, что он очень полюбил поездки с Тихоновым, который в тот был момент его близким другом. Они любили ловить басмачей. Они очень все любили тайно Гумилева, разумеется, Киплинга. Они были такими советскими империалистами, катавшимися по всем границам в красивой военной форме. И оттуда, кстати, интересные стихи Луговского “Басмач”, интересные чрезвычайно, где уже жестокость советской власти описана очень четко. Это сборник “Большевикам пустыни и весны”.



Поэтическая группа конструктивистов. Среди участников третий справа – Луговской (сидит).

В тридцатые годы он вдруг вступает вместе с Багрицким, я думаю, со страху, в РАПП - вслед за покойным Маяковским, потому что Маяковский, конечно, для них фигура номер один. И самое забавное в его судьбе, когда в газете "Известия" выходит огромная статья Луговского "Мой приход в РАПП", где он описывает, как это важно, - она выходит накануне разгрома РАППа.

Зачем это было сделано, мне до сих пор непонятно. Потому что на первой странице идет постановление о разгроме, а дальше статья Луговского «Мой путь в РАПП».

*Иван Толстой:* В разных редакционных комнатах, что ли, разные полосы готовили?

*Наталья Громова:* Не знаю. Непонятно абсолютно. Постановления принимались в последний момент, они ставились, а там продолжалась прежняя жизнь.

**“ Луговской в институте был одним из любимых преподавателей**

Но у Луговского уже была поэтическая маска. Он ее носил, носил до такой степени, что его учениками были все, начиная от Симонова, - Маргарита Алигер, Долматовский, - он в институте был вместе с

Антокольским одним из любимых преподавателей. Они ездили по разным республикам.

Они были все, конечно, переводчиками. Это была самая хлебная работа - учиться переводу узбеков, грузин. Каждому отдавалась хлебная какая-нибудь республика. Разумеется, Грузия была на первом месте. Тут уж всегда была просто целая очередь на Грузию. Во-первых, потому что Сталин, а во-вторых, потому что Грузия была в каком-то более особом положении.

У Луговского это был всегда Азербайджан. Он ездил со студентами в Баку. И его там, кстати, помнили и любили.

У него была очень непростая личная жизнь. По воспоминаниям достаточно близких людей, когда его хоронили (а он умер в 56 лет), весь дом литераторов (он умер в Крыму от фактически пятого инфаркта) был заполнен плачущими красавицами-женщинами. Несмотря на то, что все прекрасно знали, что он человек неверный. Но он любил поднимать женщин на ту высоту, которая делала это всё возможным.



Courtesy Photo

Владимир Луговской, начало 1930-х.

Итак, мы подходим к самому главному времени. Это война. Должна прямо сказать, что он уже поэт военный. Он очень любит сапоги, военную форму, и как бы это тогда в рунде всего. И вот наступает война. Тут надо еще сказать важную вещь, о которой когда-то в биографиях его не писали, а это очень важный момент. К сороковому году, когда он расстается с очередной женой, которую он любил, с замечательной пианисткой Сусанной Черновой, на его пути появляется Елена Сергеевна Булгакова. Она его старше. Она пережила только что смерть мужа. Эта связь ей льстила во всех смыслах, а она была женщиной до 70 лет очень привлекательной и очень следящей за собой как женщина. Но ей нужна была защита. Ей нужен был рядом сильный мужчина. Ну, Луговской, на самом деле, - это была большая ошибка, это был не тот случай, но между ними начинаются отношения. Это происходит накануне войны.



Елена Сергеевна Булгакова.

Начинается война, и 24 июня из Союза писателей после большого-большого собрания писатели расходятся по фронтовым газетам. Когда сейчас смотришь, думаешь, что это самый страшный абсурд, потому что из-за этого мы потеряли Лапина, Хацревина, кто-то отправляется под Киев, кто-то отправляется под Таллин, кто-то отправляется под Псков. Их там убьют всех, кого можно, особенно Ленинградское отделение Союза писателей было просто уничтожено под Таллином.

“ **Его родовые связи все очень церковные и очень патриотичные**

Луговской уходит под Псков. Я должна напомнить, что он в 1939 году вместе с Симоновым и со всей компанией прожил абсолютно счастливое путешествие по республикам, которые присоединялись, то

есть фактически по их захвату. И ему тогда казалось, что война - это вот именно это, когда они въезжали во Львов, когда они въезжали на Западную Украину, писали очерки, стихи, как они прекрасно освободили вот эти территории. Еще раз говорю, имперская идея в нем была еще с прежних времен, видимо, такая шла через его семью. Его дед был очень крупный московский священник. Его родовые связи все очень церковные и очень патриотичные.

И вот тут он вдруг попадает в прифронтовую газету. И в такую мясорубку: попадает в поезд, один поезд едет туда, а другой поезд бомбят вместе с женщинами и детьми. И самолеты летают прямо над ним, над этим поездом. И он понимает, что это не та война, которую он вообще себе представлял, а еще только июнь месяц. Вообще никто ничего не понимает, что происходит, как это может быть. И он вылезает из поезда, где, как потом его сестра писала и вспоминала (он сам об этом так и не написал) развороченные трупы женщин и детей. Это деморализует его полностью.



Courtesy Photo

Москва, 1941.

Я никогда не знала, что же там все-таки с ним произошло. Потому что это его поворотная точка судьбы. Я работала в музее Цветаевой. И однажды на помойке был найден, как всегда это часто на Аэропорте, когда умирали писатели или журналисты, оттуда притаскивали какие-нибудь ящики с барахлом. Почему это принесли в музей Цветаевой? Потому что в ящике с какими-то бумагами и с какими-то тетрадками было переписано стихотворение Цветаевой, и думали, что вдруг это цветаевская рука. А был журналист такой Рудольф Бершадский, как оказалось, это его документы, и моя заведующая знала мое вечное любопытство и попытку понять, где чего. Она сказала: "Вот я хочу этот ящик кому-нибудь передать. Ну, в общем, посмотри, вдруг что-нибудь тебе будет интересно".

Я к тому времени уже написала книгу о ташкентской эвакуации и о Луговском. Ну, он там один из героев, там очень много других героев. Там и ташкентская, потом я написала о чистопольской эвакуации, вообще о писателях в эвакуации во время войны и их судьбах. И я взяла буквально первую же маленькую записную книжку и открыла. Там написано было: "24 июня я был отправлен в Псков". Но это был Бершадский. Он пишет, как он едет к своей военной газете. И дальше: "1 июля встретил Владимира Луговского. Он на себя не похож. Он весь седой, хромот, пьет валерьянку. Говорит, что больше не хочет жить".



## СМОТРИ ТАКЖЕ Идея Шварца

Итак, 1 июля - это его день рождения, день рождения его правнука, моего сына. Он оказался под Псковом, потом он пешком фактически, на перекладных попал в Ленинград, где его, собственно, лечили.

Он считался пережившим контузию, попал в санаторий. И в конце концов он уезжает, его отправляют в эвакуацию.

Что тут важно: эвакуация состоялась 14 октября 1941 года. Я не могу сказать, что он хотел в эту эвакуацию. Это был, конечно, приказ Сталина, связанный со всей интеллигенцией, особенно ленинградской, но больше московской. Потому что, понятно, что 14 октября все готовились уже к сдаче Москвы. Это теперь очевидно по судоплатовским документам, закапывалось огромное количество всяких мин для взрывов, готовились всякие провокации, должны были быть взорваны дома с людьми. Это все написано, все это есть. В 2000 году вышел сборник документов. И интеллигенцию боялись оставлять с тем, чтобы она не встретила врага хлебом-солью, и так далее.

### “ Сталину не нужна была в Москве оставшаяся интеллигенция

У меня, во всяком случае, ощущение, когда людей ночью поднимали с кровати, и те, кто не уехали, садились (вроде Габричевского, искусствоведа). Это абсолютное указание на то, что Сталину не нужна была в Москве

оставшаяся интеллигенция. Что касается Луговского, он попадает в этот поезд, в котором едет Зощенко. Кстати, на одном самолете привозят Зощенко, а на другом самолете - Ахматову. Она едет в Казань, а Зощенко в Ташкент.

Поезд, в котором ехали все кинематографисты, историки, там ехал Эйзенштейн, Любовь Орлова, Мария Иосифовна Белкина, которая об этом очень хорошо написала в книге “Скращения судеб”, там есть большая про это глава. Но то, что она рассказывала мне, для меня было тогда самое интересное, это то, что Луговской уже получил репутацию труса, то, что он ехал на “Ташкентский фронт”. Вот это слово - Ташкентский фронт - я узнала позже, но там ехал и Борис Лавренев. Там ехала масса писателей. За Луговским, который как бы мнил себя военным поэтом, прикрепилось вот это страшное выражение. И он от этого ужасно мучился.

Они везли с собой парализованную мать, и ехала его сестра.

“ Они говорили с Зоценко прямо обо всем, о том, что Сталин сдает страну, что войска бегут

Сестра вспоминала, что он стоял все время, смотрел в окно и разговаривал с Зоценко, и они говорили прямо обо всем, о том, что Сталин сдает страну, что войска бегут. И она все время выходила и говорила: "Тише, я вас умоляю, я вас умоляю". Потому что, конечно,

они просто сорвались тогда от ощущения того, что происходит.

Мария Иосифовна Белкина, которая мне была путеводителем по всей этой истории, с ним очень много разговаривала и пыталась его из этой депрессии вытащить. Она его хорошо знала по Литинституту. Ей было 27 лет, она везла на руках маленького Митю Тарасенкова. Ее муж критик Тарасенков уже служил под Таллином. Она говорила, что все стали, когда приехали в Ташкент, очень быстро учить английский язык, предполагая, что Ташкент станет английской колонией. И она, которая знала английский язык, давала уроки и этим тоже жила в тот момент.

А Алексей Николаевич Толстой назвал Ташкент, как известно, "Стамбулом для бедных". Он поселится там спустя некоторое время.

*Иван Толстой:* Дайте гарантию, что это ему все-таки принадлежит.

*Наталья Громова:* Ну, так говорят свидетели. Лично я не могу сказать, он это не писал, но все говорили. И Ахматова говорит: Алексей Толстой назвал Ташкент Стамбулом для бедных.

И вот в этом поезде едет Елена Сергеевна Булгакова вместе со своей невесткой и со своим сыном младшим, старший сын на фронте, и посадил ее на этот поезд и дал ей возможность Александр Фадеев, который тоже имел некоторые отношения с Еленой Сергеевной в этот момент. При том, что Луговской и Фадеев два близких друга. Это особая история.



Владимир Луговской (справа) и Константин Симонов. Крым 1940.

Суть в том, что Луговской написал еще одну поэму, то есть в середине века существует цепочка поэм, которая описывает очень подробно эту эвакуацию. Она называется “Первая свеча”: как актриса Софья Магарилл идет со свечой, потому что там едет ее муж Козинцев, она актриса, и она со свечой, поезд в темноте, навстречу ему едут поезда с военными, и он вынужден все время стоять на каждой станции. И вот она идет по этому темному поезду, и там есть рассказ о женщине в рыжей шубке, которая и будет героиней повествования.

Елене Сергеевне он посвятил пять или шесть поэм. Одна из них, еще более странная, называется “Сказка о сне”. Это история двух возлюбленных, которые в Москве наблюдают страшные взрывы, похожие на взрыв ядерной бомбы. То есть конец мира происходит, они смотрят в окно, и между ними все время ходит кот в белых манжетах. Ну, так как наш дорогой Владимир Александрович ознакомился точно с рукописью “Мастера и Маргариты», то тема котов не исчезает из всех его поэм. И это было для меня первое указание. Потом уже я бросилась к родственникам, знакомым и сказала: “Что там? Там была Елена Сергеевна? Почему посвящение ЕСБ на каждом шагу?” Признались. Не хотели сначала вообще на эту тему разговаривать. Но признались.



Балахана. Рисунок Татьяны Луговской.

И есть еще одна прекрасная поэма. Она действительно хороша. “Крещенский вечерок”, где всё происходит на лестнице, откуда спускается женщина, которая не

просто женщина, а колдунья, разумеется. И это история отношений героя и героини. Но это уже нас отсылает к тому моменту, когда они, во-первых, помирились и когда стали жить вместе на улице Жуковской, это был весь двор писательский, они жили в таких маленьких сарайчиках, и одновременно это были восточные балаханы с верхними такими помещениями. И Луговской с сестрой и матерью умирающей жили внизу, а Елена Сергеевна со своим сыном жила на этой балахане, на которой потом, что замечательно, когда Елена Сергеевна уедет, будет жить Анна Андреевна Ахматова, которая напишет: “В этой комнате колдунья до меня жила одна”. И это тоже нас отсылает к тому, что Елена Сергеевна привезла в Ташкент роман “Мастер и Маргарита», дала его читать всем своим самым близким знакомым.

Мать Луговского ужасно умирает, ее мало того что перевезли парализованной, но там и рак, и паралич, все вместе. Лечить нечем, лекарств нет, это все страшные эвакуационные будни.

### “ Он просит милостыню на рынке и читает стихи

Он уходит на Алайский рынок, это главный рынок Ташкента. Он просит там милостыню и читает стихи. На каком-то вечере ташкентском, который я посвящала

эвакуации, я рассказывала, что режиссер Агишев мне рассказывал, что они все помнят до сих пор этого сидящего поэта, который за милостыню читал стихи. Они называли его Урус Дервиш, русский мудрец. Это продолжалось недолго, но благодаря этому сидению и тогдашнему пьянству (скоро умрет его мать), он написал еще одну замечательную поэму. Она называлась “Алайский рынок”. Она напечатана уже только в перестроечные годы. И он писал белым стихом нерифмованным.

Там самое главное, замечательное - это то, что он пишет, каким он был, как он покупал галстуки, как он разводил бровями, какой он был замечательный. И вот как он сейчас пал, и сейчас он настоящий. И сейчас он подлинный. В этих стихах, в этой поэме есть какая-то удивительная правда, и мне в свое время Евгений Рейн говорил, что о них очень хорошо отзывался Бродский в свое время, что у Луговского были вот такие абсолютно замечательные прозрения такие.



Courtesy Image

Комната в Ташкенте в эвакуации. Рис. Татьяны Луговской.

В это время происходит еще одно интересное событие, потому что в Ташкент приезжает Сергей Эйзенштейн, который готовится снимать вторую серию “Ивана Грозного”. И Эйзенштейн фактически вытаскивает Луговского из его пьяной депрессии, связанной с постоянной темой: что он перестал быть поэтом-бойцом,

что он, в принципе, должен был сейчас быть на фронте и писать правильные стихи.

И приезжает Эйзенштейн и предлагает ему работу, что очень важно, потому что в эвакуации работу было очень тяжело найти для всех. И, конечно, на первые роли выходили достаточно купленные поэты, которые писали барабанными строками о победе. А Эйзенштейн предлагает ему писать песни опричников. И не просто песни опричников, он ему предлагает вообще диалоги. А на этом фильме еще работает Прокофьев, который должен писать музыку. Там команда супер у Эйзенштейна.

**“ Луговской неплохо  
знал время Ивана  
Грозного, он вообще во  
всем этом неплохо  
разбирался**

Эйзенштейн взял только маленькую часть. Я видела целую пачку текстов опричников, где, надо сказать, личность Ивана Грозного, если мы помним этот страшный танец, эти слова, написанные еще в более, так сказать, страшных формах, что мы за государство всех уьем, всех порвем. Но, так как

Луговской неплохо знал время Ивана Грозного, он вообще во всем этом неплохо разбирался, он был очень грамотный, и говорили, что он мог любые молитвы петь на клиресе фантастическим голосом. Он иногда этим развлекал публику. Это очень убедительно было, и это как-то его подняло на новую высоту.

Надо сказать, он же писал и в “Александре Невском” с Прокофьевым: “Вставайте, люди русские”. А здесь это был злобный текст, который, собственно, задел Сталина, потому что вторая серия известно чем закончилась. Для Эйзенштейна фактически смертью.

Но фильм не был доделан. Луговской работает, и всё это его подстегивает. Середина века, которую он пытается понять. Кстати, что меня поражает, вот эта одновременность того, как несколько человек, очень талантливых, понимают, что источник бед не в сорок первом, не в тридцать девятом году, они где-то в начале века. Они начинают думать о судьбе страны с самого начала. Это делает Ахматова в “Поэме без героя”. Это делает потом в “Живаго” Пастернак, который в это же время где-то в конце войны начинает задумывать “Доктора Живаго”. Это делает Луговской, который хочет прожить это время насквозь, он хочет его начать через 1937 год, и он уходит в начало, в своего отца, в своего священника-деда. Он хочет понять, что произошло со временем. Вот что было, конечно, замечательно.



Courtesy Photo

Анна Ахматова. Ташкент, 1942.

Надо сказать, его записные книжки, они просто очень хороши. Например, там есть поэма, где много каких-то бытовых картин, она называется “Город сна”. Она иначе называется “Голливуд на границе Китая”. Это об алма-атинской киностудии, в которой живет море режиссеров в эвакуации. И вот он описывает и эти съемки Эйзенштейна. Он описывает, как они спят, как они бесчувственны друг к другу. Он описывает там и Шкловского, и Эйзенштейна, и Валентина Кадочникова, который погибает. Они собирают саксаул. И он погибает фактически, самый лучший режиссер Эйзенштейна на этой работе.

И там основная мысль очень хорошая - случайность жизни и случайность смерти. А почему вот они тут все, и вот этот сейчас умрет, а этот жив, а этот сейчас умрет. И что такое в этом смысле война? В общем, он поднимается на какую-то очень серьезную философскую высоту с этого дна, с пьянства, с отрицания всего.



Лестница на балахану, где жила Е.С. Булгакова, а затем А.А. Ахматова во время эвакуации.

Елена Сергеевна, которая была чудесной машинисткой, как и ее сестра Бокшанская, секретарь-машинистка у Немировича-Данченко, сидит и перепечатывает это все. Она пишет Татьяне, сестре Луговского, которая то в Алма-Ате, то в Ташкенте, что он удивительно талантлив, живет этой поэмой. Она умеет быть женщиной в этот момент, которая нужна и которая слышит.

Но вот тут происходит самое любопытное, потому что Елена Сергеевна в какой-то момент, ну, во-первых, потому что она еще и старше, во-вторых, она в общем цену Луговскому понимает, несмотря на то, что он был ей действительно предан, она вдруг понимает, что она вдова Булгакова. Понимает это она, когда получает письмо от Немировича-Данченко, который хочет ставить “Последние дни” (“Пушкина”) и предлагает ей работу вместе с ним над пьесой. И она улетает туда, она покидает Ташкент, что, конечно, было травматично для Луговского. И она постепенно, постепенно превращается вот в ту Елену Сергеевну Булгакову, дававшую этот роман Эйзенштейну, Раневской, Надежде Яковлевне Мандельштам (они все читали), она понимает цену. Ей было очень важно это отраженное мнение о романе Булгакова. И тогда она все больше входит в роль колдуньи, ведьмы, кого угодно, Маргариты. И это понимает Луговской. Он вообще все время находится во внутреннем диалоге с писателем, которого он сомневаюсь, что когда-нибудь видел, но он понимает его масштаб. Он, это видно из его писем, из его ощущения, что там у нее за спиной стоит как бы тень Булгакова. Это меня, конечно, восхитило.

**“ Поэма “Каблуки” - она про писателей, это поэма о живых мертвецах**

И вот эта война приводит его к тому, что он, казалось бы, состоялся. Я хотела прочесть один кусочек, который так и остался в кусочках. Это поэма “Каблуки”. Она про писателей. Ее очень трудно разгадать.

Маленький кусочек. Это поэма о живых мертвецах. В опустевшем доме отдыха на берегу Черного моря, где герой отдыхал в течение многих лет, осенней ночью к нему приходят тени, которые оставляют следы каблуков на песке. И вот там идет такой текст, очень странный.

Проходят всюду парочками снова,  
Откинувшись, садятся на скамейки,  
Опять ведут тупые разговоры,  
Целуются и жмутся, задыхаясь,  
И говорят враждебные слова.

— Борис! Борис!  
Что сделалось с тобою,

Печальным двоедушным прокурором?  
Где ты теперь? — Я умер, уходи! —  
— Николенька, зачем сидишь спокойно  
На нашей старой голубой скамейке?  
Тебя, насколько помню, расстреляли? —

Да, расстреляли. Умер. Проходи. —

— А ты, Иван Иванович, детина,  
Мореный дуб, чудовище мясное,  
Где ты теперь? — Я кончен, уходи.  
Я был обманут, — раздаётся голос, —  
Я был отвержен, — покачнулся шорох. —  
Я подчинил себя чужим законам,  
И потому я кончен. Уходи! —

И заканчивается это так:

Неужто вы, умершие, живете  
Неизменные в поступках прежних,  
В словах обычных, в ожиданье старом  
Какого-то последнего конца?!  
Конца не будет.

Ну, еще раз говорю, он в этом смысле пишет, как бы сказать, подбирает первые часто попавшиеся в этом смысле слова, но он пытается понять, что произошло с его современниками, что произошло. В этот момент, это тоже очень важно, появляется в Ташкенте Симонов. Симонов работает над фильмом “Жди меня”, посвященный своей жене Серовой, которая играет главную роль. Между ними сложные отношения. Не будем говорить там о Рокоссовском, не о Рокоссовском. Много всего. Снимается фильм. Симонов идет к своему учителю Луговскому.



#### СМОТРИ ТАКЖЕ

Клевета как улика. Судьба драматурга  
Сергея Ермолинского

Из этой встречи родится огромная глава из симоновских “Записок Лопатина”, а Герман снимает в “Двадцати днях без войны” героя абсолютно не похожего на

Луговского, прекрасно понимая, что он решает это по-другому. Но суть в том, что встречается учитель и ученик. И учитель читает ему поэмы, говорит о том, что он пережил нечто новое. Я имею в виду сейчас симоновский текст даже, а не версию Алексея Германа. Но суть в том, что все знают, о ком идет речь, Лопатин думает, как изменился этот человек, как он себя предал, и вот он сейчас читает какие-то ненужные никому поэмы, и он сейчас занят какой-то ерундой в то время, когда весь народ должен, служить только делу войны, когда надо писать только о войне, а он сидит здесь и думает о каком-то XX веке, о его начале, о каких-то, так сказать, переходах туда-сюда.

**“Про этого труса я говорить не желаю. Это ничтожество”**

И уже после смерти Луговского выйдет из печати эта вещь - «Записки Лопатина», вещь достаточно свободная. Но это разочарование, тоска, она фиксируется уже в истории литературы полностью.

Когда я пошла по следу, я уже находила это везде. Вплоть до того, что я когда-то позвонила сыну Кирсанова, он немножко воевал, и он спросил меня: "А что вас интересует?" Я говорю: "Да вот Ташкент, Луговской". Я просто назвала слово. И он мне сказал, он уже давно покойный, он мне сказал: "Про этого труса, если вы имеете к этому отношение, я говорить не желаю. Это ничтожество".

И я не могла даже произнести слово, потому что вот эти репутационные отметки, они так и существовали. И я помню, как опять же замечательно Александр Михайлович Ревич, такой переводчик, рассказывал, как они маленькие, они маленького роста, со своим другом пришли к нему уже на Лаврушинский записываться в его группу. И он сидел такой большой и пил водку грустный. И они пришли, и он так встал перед ними. Он говорит: "Вы воевали?" Они говорят: "Да". Они прошли уже фронт, мальчишки 23-24 лет, а ему 40. И как говорил о нём Светлов: "Володя был похож на взорванный Днепрогэс". Он нес в себе эту вину всегда, вот эту вот вину ощущения того, что он испугался.



Владимир Луговской с сестрой Татьяной. Вторая половина 1950-х.

И в конце концов, его достаточно ранняя смерть (1957) была связана с тем, что он после пятидесяти третьего года, уверовав в то, что после событий 1955-56 года, освобождения товарищей всех, кого можно было освободить, в то, что все будет по-другому, и он стал переписывать эту свою книгу поэм. Он делал свой «Ад» - страшное время, потом хрущевское время - «Чистилище», и переход к коммунизму - «Рай». Он строил свою идею «Божественной комедии». И он начал всё выламывать, переписывать, выкручивать, и оставил эту книжку середины века. Но она была как будто выпилена - всё, очень многое живое из неё.



Владимир Луговской в кабинете в Лаврушинском, 1950-е.

И он удивительно умирает. Он был сильно пьющий человек, но в 1957 году происходит собрание с интеллигенцией на природе у Хрущева. Это, по-моему, июнь месяц. И Хрущев тогда кричит на Маргариту Алигер, топает ногами, топает на них на всех. Он уже несколько раз это делал, потому что венгерские события, и он дико боится, что всё начнется опять с этой интеллигенции. Она может всё это замутить. И все понимают, что всё сейчас вернется.

И все близкие говорили, что, конечно, этот инфаркт был абсолютно вызван страхом, что всё, всё сейчас развернется снова. Он читает газету - и всё. И он умирает.

Это тот самый случай, когда человек хочет прорваться к самому себе, когда в нем есть что-то по-настоящему живое, что, так сказать, остается в каком-то смысле неостребованным. И для меня было большим подарком, что люди вдруг увидели, когда многие прочли про это, они прониклись к нему таким состраданием, что стали о нем думать. И даже пара студентов снимала фильмы о нем как о человеке, который пытается выйти из этого сложного положения самим собой.



Установите Мобильное приложение Радио Свобода

Установить



Читайте Свободу в Телеграме

Войти



Подпишитесь на Свободу в Google новостях

Подписаться



**Иван Толстой**

Другие статьи и программы здесь: [Герои Ив.Толстого](#)

Этот контент также в категориях

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Культура

Герои Ив.Толстого

Советские судьбы